

когда символическое было стянуто во всей его потенциальной множественности к простоте существования, «стяженности», еще не-развитости, не открытости во-вне. Тут можно бы, наверное, сказать об особого рода «паранепротиворечивой логике» соотношения вещного и символического: приведение к простоте создает место, как бы освобожденное от обилия вещей и смыслов. В топосе, таком пронизанном силами существования и языка силами, уподобленном простой вещи, формируются предельные состояния субъективности.

Первое, что запомнилось (вещь в биографическом контексте)

Память — это собрание мыслей. Мыслей о чем? О том, что держит нас в нашей сущности постольку, поскольку мы его мыслим. <...>

Память мыслит о помысленном. <...> Память — это собрание воспоминаний о том, что должно осмыслиться прежде всего другого. Это собрание прячет в себе и укрывает у себя то, что всегда следует мыслить в первую очередь, все, что существует и обращается к нам, зовет нас как существующее или побывшее.

М. Хайдеггер. Что значит мыслить?¹

О вещи-первосветах. Вещи² можно изучать с разных позиций. Я остановлюсь на четырех подходах к их исследованию, уделив особое внимание тому, который будет задействован в размышлениях о первых образах персональной памяти.

¹ Хайдеггер М. Что значит мыслить? // Разговор на проселочной дороге / М. Хайдеггер. М., 1991. С. 134–135, 140.

² Под вещью в данном случае понимается любой предмет, доступный чувственному восприятию, но при этом такой, о котором можно сказать «что это», но не «кто это». Иногда о вещах говорят в расширительном смысле, называя вещью всякое «что» (отметим, язык дает для этого определенные основания). В этом случае ее приравнивают к «чтойности», и понятие вещи оказывается необычайно широким. Петербургский философ М. В. Михайлова, например, исходит из того, что вещь конституирует то, о чем она вещает, соответственно, вещью можно назвать все, что имеет имя, все поименованное (см.: Михайлова М. В. Философия простых вещей: созерцательность и событийность // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Философия. Филология». 2008. № 1(3). С. 4). Я склоняюсь к более узкой трактовке, отправляясь от того, что среди прочего вещи вещают о том, что они ветшают, и от противоположенности вещи субъекту (вещь как «что», в отличие от тех, о ком можно сказать «кто»).

1. Вещь может стать предметом познавательного интереса в качестве *вещи вообще*. В этом случае в фокусе внимания оказывается сущность вещи как таковой, а не определенный ее род, вид или экземпляр. Определенная вещь — это не более чем материал для ее анализа. Таков подход к вещи классической философии.

2. В рамках объективистского подхода та или иная вещь извлекается из неопределенности «окружающего» и удерживается в центре внимания постольку, поскольку ее изучение оправдано в рамках достижения научно-познавательных и жизненно-практических (хозяйственно-экономических, технических, политических, etc.) целей.

3. Вещь может исследоваться также в перспективе истории субъекта (его особенных формаций), культуры, разума и т. д. Здесь выбор вещи в качестве предмета анализа определяется установкой исследователя (философа, культуролога) на экспликацию структур овеществленного дискурса. То, какая именно вещь извлекается из неопределенного множества сущих для пристального рассмотрения, определяется тем, какого рода смысловыми «отложениями» он интересуется: это могут быть и исторически изменчивые дискурсы власти, и разнообразные формы рациональной репрезентации мира, и структуры мифологического мышления, etc. Вещь исследуется здесь постольку, поскольку она дает возможность продемонстрировать продуктивность избранной исследователем методологической установки и внести большую ясность в исторически изменчивые способы структурирования субъекта, власти, разума³.

4. Наконец, вещь может войти в светлую область внимания не по инициативе человека, а «по своей собственной инициативе». Это тот случай, когда не мы извлекаем ее из неразличимости, а она *сама обращает* на себя наше внимание. Описание «окликающих» нас вещей — важная задача

³ Данный подход к исследованию вещи отчетливо представлен в статье Е. А. Иваненко, М. А. Корецкой и Е. В. Савенковой (см.: Иваненко Е. А., Корецкая М. А., Савенкова Е. В. Гекатонхейр и цветочек, Или как возможна философия простых вещей // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Философия. Филология». 2008. № 1(3). С. 22-32).

феноменологически ориентированной философии. В случае, когда вещь окликает, мы размышляем о ней, потому что она чем-то нас взволновала, тронула, запала в душу. Осмысливается тут то, что само требует осмысления, что как будто обращается к нам с вопросом, «зовёт» нас к себе. Вещь извлекается из неразличимости благодаря исходящему от нее «свету», то есть благодаря способности привлечь к себе наше внимание, подобно тому, как его привлекает любой источник света (солнце, огонь, маяк...). Вещи, которые обращают на себя наше внимание, я буду называть *самосветами*. По отношению к таким вещам вполне допустимо использовать термин «Dasein вещей»⁴.

Сама-по-себе-интересная-вещь — это *вещь, с которой можно вступить в диалог*⁵, вещь, дистанцировавшаяся от вещей наличных и подручных. Самосветам в какой-то момент удаётся пересекать линию, разделяющую ветшающее «что» от ветшающего «кто». С такими вещами мы вступаем в общение. Уже их «обращение» к человеку выходит за рамки привычного представления о вещи как о чем-то безгласном и инертном⁶.

⁴ Этот термин не так давно был введен в философскую литературу Юрием Разиновым. Подробнее см.: Разинов Ю. А. Dasein вещей, или о чем может поведать трубка // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Философия. Филология». 2008. № 1(3). С. 49—63.

⁵ Вещь, с которой мы взаимодействуем как с подручной, целиком укладывается в привычное представление о ней, мы ее не замечаем, она словно растворяется в том деле, которое с ее помощью делается. Наличная вещь как предмет научно-познавательного интереса — точка приложения теоретических представлений, исследовательских целей и методик. Испытание вещи, экспериментальное взаимодействие с ней проверяют на прочность наше представление о ее свойствах и помогают его скорректировать. Ни в первом, ни во втором случае диалога с вещью не получается. Только в том случае, когда мы имеем дело с вещью-самосветом, нечто похожее на диалог «я» и «ты» становится возможным. Вещь, удерживая нас подле себя, задает нам вопрос. Мы отвечаем на него, пытаемся понять: о чем она нам вещает? О чем спрашивает? Чего от нас хочет?

⁶ О важности для мысли этой обращенности к человеку и о желанности обратившегося для того, кто рассматривает обращение и кто сам ему желанен, хорошо говорит Хайдеггер: «...Мы можем всегда лишь то, что нам желанно, то, к чему мы так расположены,

Так, к примеру, бывает в ситуации эстетического события, когда мы встречаемся с вещью, захватившей наше внимание благодаря присутствию в ней иррационального остатка, благодаря своей другости⁷. Вещи-самосветы потому и светят, что выделены из неразличимо-фоновой обыденности Другим, которое в конечном счете и есть начало субъектности.

Эмоциональный импульс, сопряженный с такой встречей, — основное условие ее вхождения в индивидуальную и/или коллективную память. Многое из того, что было с нами, забывается. Пожалуй, забывается даже большая часть бывшего. Но кое-что в памяти удерживается⁸. В ней сохраняется

что его допускаем. На самом деле нам желанно лишь то, чему мы сами желанны, желанны в нашей сущности. При этом это что-то склоняется к нашей сущности и таким образом затребывает ее. Эта склонность — обращение. Оно зовет нашу сущность, вызывает нас в нашу сущность и таким образом держит нас в ней. Держать означает собственно охранять. Но то, что держит нас в нашей сущности, держит нас, лишь пока мы, с нашей стороны, сами удерживаем держащее нас. А мы удерживаем его, пока мы не выпускаем его из памяти. Память — это собрание мыслей. Мыслей о чем? О том, что держит нас в нашей сущности постольку, поскольку мы его мыслим. В какой мере мы должны мыслить держащее нас? А в той, в какой оно испокон века является тем, что должно осмыслиться. Когда мы осмысляем его, мы одариваем его воспоминанием. Мы отдаем ему воспоминание, потому что оно желанно нам как зов нашей сущности. Мы можем мыслить только тогда, когда мы желаем того, что должно в себе осмыслиться» (*Хайдеггер М.* Что значит мыслить? Указ. соч. С. 134–135).

⁷ В таком диалоге сталкиваются друг с другом пред-полагаемая вещь (мое представление о ней) и вещь, обнаружившая свою самостоятельность, отклонившаяся (в чем-то) от того, что ей предписано (предписано культурой, «общим мнением» персональным опытом взаимодействия с такого рода вещами). Причем источник отклонения вещи от ожидаемого — то, что в вещи обнаружило себя как особенное, Другое, то есть то самое, что мы встречаем, когда встречаемся с субъектом, с Ты (Ты — это тот, кто всегда может обратиться к тебе по своей инициативе).

⁸ Для жизни человеческой души и для ее познания имеет значение все, что с нами происходит (особенно то, что происходит в ранние годы), включая также и то, что было забыто или вытеснено в подсознание. В исследовании этой скрытой от сознания душевной жизни за последнее столетие было сделано много открытий

то, что «запало в душу», «задело за живое», «поразило воображение». Удержанное в памяти — это то сущее, которое полностью со-присутствовало со мной и вошло в состав моего «я». Если мы какие-то вещи помним, то не в качестве «безгласных» (М. М. Бахтин), а в качестве *окликнувших нас*.

Об одной из разновидностей вещей-самосветов и пойдет речь в этой статье. За свою жизнь таких вещей человек встречает достаточно для того, чтобы видеть в них особый регион нашего опыта. Все они «светят», но светят по-разному и относятся к разным категориям. Одни из них квалифицируются в качестве светоносных традицией (в рамках культурного априори, предоставляющего в этом качестве церковные реликвии, выдающиеся произведения искусства, предметы эстетического паломничества и т. п.), другие же опознаются как самосветы в персональном опыте, апостериори⁹. Меня в этой статье будут интересовать только самосве-

(прежде всего, усилиями психоаналитиков). Однако не стоит упускать из виду, что вытесненное — в огромном массиве забытого — лишь малая его часть. Большая часть дошедшего до сознания (а это, в свою очередь, малая доля от того, что до сознания не дошло) забыта. Забыта не в силу своей травматичности, а по причине безразличности для нашего «я». Помним мы то, что действительно необходимо. Многие вещи мы держим в сознании (помним «что», помним «как») потому, что постоянно имеем с ними дело, потому что практически их используем (это предметы, связанные с нашим бытом и работой, с долговременными увлечениями). Но если мы говорим о сохранении в памяти того, что воспринималось очень давно и в нашем настоящем никак не участвует, то здесь мы имеем дело с таким пластом воспоминаний, который представляет для нас экзистенциальный интерес. Этот сегмент памяти невелик. В него входят и детские воспоминания. Это то, что было (с позиции взрослого) бесконечно давно и в современной жизни совершенно бесполезно, а вот, поди ж ты, — помнится! Именно «бесполезное», но незабытое, интересуется меня прежде всего. Понять, почему мы помним то, что помнить не обязательно, почему какие-то вещи, люди, ситуации оказываются «незабываемыми», — и важно, и интересно.

⁹ Впрочем, все вещи, удержанные традицией, первоначально были вещами, задевшими кого-то «за живое». Число вещей, выделенных традицией в качестве заслуживающих внимания, значительно превышает число предметов, выделенных индивидуальной памятью. Биографически обусловленное внимание к вещам — необходи-

ты персонального опыта. А из них — еще более узкая группа: те вещи, чей свет был достаточно силен для того, чтобы войти в святилище долговременной памяти¹⁰. Это вещи, «не желающие» забываться («незабываемые» вещи).

Однако даже персонально памятные вещи-самосветы — тема слишком обширная для одной статьи. Поэтому я ограничусь исследованием *первых вещей памяти* и того, что они значат, о чем они говорят нам, раз уж мы соглашаемся внимательно их выслушать. Статус таких вещей — особый. Первые вещи памяти направляются на сравнение с первоцветами. Как и первые весенние цветы, они обладают особой притягательностью.

В размышлениях о первых вещах я попытаюсь сконцентрировать внимание на самой первой из них, на той вещи, которая светит человеку из последней глубины прошлого. При этом я хорошо сознаю, что удержать внимание на заостренном конце иглы времени — задача не из легких. Определить, какое из ранних воспоминаний было первым, а какое — вторым или пятым, — удается не всегда, как не всегда легко отделить собственное воспоминание от позднейших рассказов родных и близких¹¹. Сложность еще и в том, что первое воспоминание, как правило, включает в себя несколько пред-

мие (хотя и недостаточное) условие вхождения некоторых из них в культуру, в традицию. Вещь, вызывающая интерес сама по себе, может явить себя в качестве особенной и в личном опыте встречи с ней, и в то же время рассматриваться в качестве таковой Традицией.

¹⁰ Здесь можно воспользоваться аналогией (анalogией грубой, приблизительной, но все же...) с вещью, запечатленной на фото-пленке. Для удержания вещи на светочувствительной поверхности пленки отраженного от вещи света, он должен иметь достаточную для этого интенсивность. Слабый свет не позволит сохранить отчетливый образ. Так и наша память в ее отношении к «запоминаемому». Свет, исходящий от вещи, должен быть достаточно сильным для того, чтобы память удержала ее образ.

¹¹ О проблематичности вычленения из сравнительно узкого круга первых воспоминаний «самого первого» упоминают почти все, кто обращался к этой теме. И в том числе сами мемуаристы. Вот, к примеру, первые строчки из «Воспоминаний детства» С. В. Ковалевской, касающиеся вопроса о трудноуловимости «самого первого»: «Хотелось бы мне знать, может ли кто-нибудь определить точно тот момент своего существования, когда в первый раз возникло в нем отчетливое представление о своем собственном я, — первый

метов. Что же делать в такой ситуации тому, кто стремится к описанию первоначального? Остается одно: держать курс на вещи-первосветы и без спешки размышлять над исходящим от них светом.

Первое в памяти: пробуждение самосознания и персональное летоисчисление. Приковывать к себе внимание — отличительная особенность первого и последнего. Не представляет исключения и жизнь человека. Рождение и смерть сохраняют свою значительность и тогда, когда речь идет о судьбе ближнего, и тогда, когда мы думаем о своей собственной жизни. Но если *последнее* от нас скрыто (никто не знает, что он увидит, что подумает и почувствует перед смертью), то *первое*, напротив, в какой-то мере *открыто для нас*.

Это утверждение может показаться странным. Принято считать, что начало жизни скрыто от любопытных взоров так же надежно, как и ее конец. И это действительно так, если говорить о рождении и о первых двух годах жизни. Но когда я говорю об открытом для интроспективного созерцания начале жизни, то имею в виду появление самосознания как ее второе начало, как «второе рождение» человека¹².

проблеск сознательной жизни. Когда я начинаю перебирать и классифицировать мои первые воспоминания, со мной всякий раз повторяется то же самое: эти воспоминания постоянно как бы раздвигаются передо мною. Вот, кажется, нашла я то первое впечатление, которое оставило по себе отчетливый след в моей памяти; но стоит мне остановиться на нем мои мысли в течение некоторого времени, как из-за него тотчас начинают выглядывать и вырисовываться другие впечатления — еще более раннего периода. И главная беда в том, что я никак не могу определить сама, какие из этих впечатлений я действительно помню, т. е. действительно пережила их, и о каких из них я только слышала позднее в детстве и вообразила себе, что помню их, тогда как в действительности помню только рассказы о них» (Ковалевская С. В. Воспоминания детства. Нигилистка. М., 1986. С. 4).

¹² Мы используем метафору второго рождения в ином, чем принято, смысле. Обычно под вторым рождением подразумевают духовный переворот в жизни зрелого человека, то, что называется переменной ума, метанойей. В более узком смысле второе рождение — это обращение человека от неверия — к вере или от ложной веры — к вере истинной. В этой статье второе рождение — это метафорическое указание на возникновение «я-сознания».

Мы не помним своего физического рождения, но не помним о своем метафизическом рождении мы не можем, поскольку самосознание и способность что-то помнить — два момента одного и того же события. Погружаясь в прошлое, добираясь до первого воспоминания (до первого образа, до первого ощущения), мы оказываемся в той точке, отправляясь от которой, только и можно иметь дело со *своей* жизнью. Первое воспоминание связывает нас со временем, когда мы стали *осознавать себя* и, стало быть, *себя помнить*. Можно даже предположить, что первое воспоминание сохраняет первый опыт самосознания, то есть тот момент, начиная с которого мы получаем возможность говорить о *своем* опыте, *своем* мире, *своих* воспоминаниях («у меня была синяя машина из пластмассы», «помню, как мы ходили с мамой в магазин...», «я тогда упал со стула и поранил руку...»).

Но *помнить себя* — значит помнить *определенные вещи*. Новорожденное «я» *не отделимо от удержанных им и с ним соотнесенных образов и переживаний*. «Я» нет, если нет «другого», и наоборот. Вещи есть, когда есть «я». Одушевленное существо способно хранить память о том, что с ним было, когда оно становится субъектом желаний, переживаний, восприятий, действий, претерпеваемых и исполняемых определенным body. Память появляется только тогда, когда у тела появляется хозяин, и из body оно превращается в mybody. Жизнь моего тела начинается с первого проблеска самосознания. Это жизнь, которую мы *сами* творим и *сами* претерпеваем. Это жизнь не «в себе», а «для себя»; только для такой жизни возможны исповедь и покаяние, самоанализ и тоска по Другому.

Субъект рождается в момент, когда сознание обретает сознающего, того, кто не только видит и понимает, «что» он видит, но и *относит видимое к себе как видящему и понимающему*. Свои собственные впечатления, а с ними и воспоминания появляются у ребенка, когда Другое локализуется в нем, как в месте имени Я, где *все* (вещь, действие, желание, другой человек) себя находит, опознает, именуется. Благодаря инстанции Я, жизнь одушевленного тела обретает историчность, отображается в сознании как «внутренняя история» с ее «было», «есть» и «будет» (история Петрова Петра Петровича). Помнить вещи первых воспоминаний — значит помнить себя, и наоборот: помнить себя — значит помнить

определенные вещи. Пробуждение «я» в его отделенности от «другого» отсылает к появлению Другого в ребенке, к пробуждению Я. Другое-в-вещи и Другое-во-мне (Я) — два полюса одного события¹³.

Особый интерес в развитии человека представляет период между бессознательной жизнью в младенчестве и временем, когда у ребенка появляется самосознание. В эти годы (с одного года до примерно двух-трех лет) он уже обладает сознанием, но сознанием безличным, бессубъектным («бибика», «дай», «бо-бо», «гав-гав», «киса», «мама», «гулять»...). На этой фазе своего развития он уже понимает в окружающем, но понимает без отнесения воспринятого к себе как субъекту.

Способ присутствия ребенка до 2,5-3-х лет отличен от способа присутствия ребенка, которому больше 3-5-ти лет, и тем более — от способа присутствия взрослого. Его особенность в том, что мир уже открыт малышу, но открыт без отнесенности к «я», к тому, *кто* в нем расположен¹⁴. Бытие-в

¹³ Мое Я — безусловно особенное, оно — Другое сущему и, соответственно, мне самому как сущему (как такому-то и такому-то, как тому, кого я знаю, кому что-то приказываю, от кого чего-то ожидаю). Пробуждение Я в ребенке происходит в момент, когда сознание младенца встречается с тем, что воспринимается как безусловно особенное. Встреча с Другим оказывается в то же самое время откровением Другого в младенческой душе, у которой появляется внутренний Центр, ее необъективируемое средоточие (то, что в христианской традиции именуется «сердцем»). Так первая встреча с Другим оказывается и первой встречей с самим собой. Тут и появляется память как удержание того, что со мной было.

¹⁴ Об этой особой, переходной фазе в развитии душевной жизни ребенка, о периоде, когда осуществляется переход от бессубъектного сознания к субъектному, когда возникает память, писал К. Юнг: «...Первой формой сознания, доступной нашему наблюдению и познанию, является простая связь двух или нескольких психических содержаний. Поэтому на данной ступени сознание все еще связано с представлением нескольких рядов отношений, а следовательно, является лишь спорадическим, и в дальнейшем его содержания уже не вспоминаются. Фактически для первых лет жизни нет постоянной памяти. В крайнем случае здесь имеются островки сознания, подобные отдельным лучам света или освещенным глубокой ночью предметам. Но эти островки воспоминаний уже не являются теми

ребенка не имеет центра в себе самом, оно эксцентрично. Он присутствует, но присутствует через родителей. В качестве внутреннего центра Бытие (Другое) в его душе еще не актуализировалось, не заявило о себе как об ускользающем от определений начале сущего, которое находит себя «в мире». Мир являет себя ребенку, но ребенок еще не может (не готов) организовать многообразие внешних и внутренних данностей вокруг собственного Я, соответственно, не в состоянии провести четкую границу между внешним и внутренним. Ребенок — «вне себя», вот почему ему не дано то, что дано взрослому, — его самость. Он не может «выйти из себя» или, скажем, «потерять над собой контроль», потому что до себя еще далеко.

Получается, что в полусознательном возрасте (от детского лепета до 3-х примерно лет) мир уже звучит в ребенке, отзывается, заявляет о себе множеством вещей, а тот, кто мог бы удерживать их в качестве своих еще отсутствует (а если присутствует, то проблесками, моментами). Вещи в это время воспринимаются и понимаются безотносительно к инстанции Я. Субъект их не удерживает, и они прописываются в темных лабиринтах бессознательного (и если мы с ними иногда имеем дело, то в сновидениях и в измененных состояниях сознания); такие впечатления не могут войти в состав нашего «я», хотя и способны многое определять в душевной жизни человека.

самыми ранними, существующими лишь в представлении связями содержаний, а включают в себя новый, очень важный ряд содержаний, а именно содержания, представляющие самого субъекта, так сказать, его «Я». Поначалу этот ряд содержаний, как и прежде, существует только в представлении, в результате чего ребенок первое время постоянно говорит о себе в третьем лице. И только позже, когда ряд «Я», или так называемый «Я»-комплекс, приобретает, вероятно, в результате упражнения, собственную энергию, появляется чувство субъекта, или чувство «Я». Возможно, это происходит в тот момент, когда ребенок начинает говорить о себе в первом лице. Повидимому, на этой ступени возникает непрерывность памяти, то есть, по сути, непрерывность «Я»-воспоминаний» (Юнг К. Г. Жизненный рубеж. URL: <http://www.yourdreams.ru/biblio/pages/carlgustav-jung-la-1.php> (дата обращения: 20.12.2012).

Итак, первые годы не оставляют после себя воспоминаний (это бодрствование без бодрствующего), а их появление свидетельствует о рождении самости и начале персональной истории.

Условия запоминания (самосознание, особенное, встреча)

Самое первое воспоминание моё есть нечто ничтожное, вызывающее недоумение. Я помню большую, освещённую предосенним солнцем комнату, его сухой блеск над косогором, видимым в окно, на юг... Только и всего, только одно мгновение! Почему именно в этот день и час, именно в эту минуту и по такому пустому поводу впервые в жизни вспыхнуло моё сознание столь ярко, что уже явилась возможность действия памяти? И почему тотчас же после этого снова надолго погасло оно?

И. А. Бунин. Жизнь Арсеньева

Первые воспоминания отсылают нас ко времени нашего метафизического рождения, к переходу от бессубъектного существования первых лет к бытию от первого лица. Большинство таких воспоминаний относится к возрасту от 2-х до 4-х лет (хотя исключения, конечно, встречаются)¹⁵. При этом общее число воспоминаний, дошедших от этого периода, обычно не слишком велико. Означает ли это, что они полностью исчерпывают те моменты, в которые мы себя помнили (сознавали)? Ответ «да» был бы, пожалуй, слишком смелым. Ребенок, начиная с возраста двух-трех лет, довольно часто обнаруживает в своем поведении признаки самосознания. И если воспоминаний от этого времени остается

¹⁵ Если судить по материалам, имеющимся в Сети, и по проведенным мной опросам, некоторые люди относят свои первые воспоминания к возрасту от рождения до 2-х лет (проверить достоверность таких свидетельств довольно сложно), а некоторые — к 5-6-ти годам (см. например: *Матюшкин Л.* Первые воспоминания людей. URL: <http://indiepie.livejournal.com/274501.html> (дата обращения: 23.12.2012).

Ранние воспоминания. URL: http://www.semya-rastet.ru/razd/rannie_vospominaniya/ (дата обращения: 26.02.2013).

немного, это не означает, что я-сознание присутствовало у ребенка только в те моменты, которые сохранила его память.

Это становится еще более очевидно, если принять во внимание, что есть и такие люди (и их немало), которые датируют свои первые воспоминания четвертым, пятым или даже шестым годом. Едва ли можно предположить, что у этих людей самосознание пробудилось не ранее пяти или шести лет, притом что эта способность, как свидетельствуют психологические исследования, формируется в общем и целом к 3-м годам (через кризис трех лет проходят все дети). Несовпадение числа памятных эпизодов раннего детства с теми моментами, в которые ребенок 2-5 лет присутствовал в режиме я-сознания, определяется тем, что далеко не все они сохраняются в памяти на долгие годы. Наличие самосознания само по себе не означает сплошного запоминания того, что происходит с субъектом сознания. Мы, конечно, не можем вспомнить то, что не воспринималось как имеющее-комне-отношение; но из того, чему мы были свидетелями, наша память удерживает лишь малую часть.

Иными словами, феномен «запаздывания» первых воспоминаний — это весомый аргумент в пользу того, чтобы рассматривать *самосознание как необходимое, но недостаточное условие удержания в памяти жизненных впечатлений*. Об этом свидетельствует и богатая по сравнению с детскими годами, но, тем не менее, фрагментарная память о времени, когда нам было 16, 30, 37 и более лет.

Но если нельзя с уверенностью утверждать, что первое воспоминание — это *первый проблеск самосознания*, то едва ли можно сомневаться в том, что оно удерживает предметы, высвеченные *одной из ранних его вспышек*, и что эпизод, который память сохранила в качестве первого, был самой яркой его манифестацией.

Пусть удержанное памятью воспоминание было самым первым переживанием нашего присутствия, а запечатленная в памяти вспышка самосознания была наиболее интенсивной в череде еще не слишком отчетливых его актов, но что скрывается за предметным содержанием первого воспоминания? Почему запомнилась именно эта вещь, а не другая?

В самом общем плане на этот вопрос я могу ответить так же, как отвечал в «Эстетике Другого»: потому что именно эта вещь была воспринята как особенная или безусловно

особенная. Встретиться с такой вещью — значит встретиться с Другим, явившим себя через особенность, необычность вещи. Такая встреча предполагает — одновременно — и его (Другого) откровение в душе, воспринявшей вещь (то, что переживается человеком вовне как безусловно особенное, Другое на стороне вещи, есть в то же время откровение в нем того, что обозначают с помощью местоимения «я»). Встреча с безусловно особенным на стороне вещи — это в то же самое время встреча с Я. Можно предположить, что первое воспоминание доносит до нас не просто тот фрагмент отдаленного прошлого, в котором мы сознавали себя, но такой его момент, в котором мы имели особенное переживание.

Если все обстоит так, как представлено выше, то и предмет первого воспоминания должен был бы помниться как необыкновенный, волшебный, таинственный. Разумеется, таким он должен быть в восприятии ребенка и в воспоминаниях взрослого. И надо сказать, подобное в первых воспоминаниях встречается. Но встречается редко и представляет собой, скорее, исключение, чем правило¹⁶.

¹⁶ Первые воспоминания, сохраняющие память о первом как о ярком, необыкновенном и непостижимом в своей глубине событии, тоже встречаются, но их немного. Замечательным примером воспоминания-потрясения является известный отрывок из автобиографии о Павла Флоренского об «огненных искрах» из-под вертящегося колеса точильщика: «Передо мною стоял невиданный снаряд. Что-то в нем быстро вертелось, визжало, скрипело, и от колеса сыпались яркие искры. И, самое страшное, какой-то человек, мне он показался темным силуэтом на небе, вероятно, вечеряющем, — какой-то человек стоял при этом снаряде невозмутимо, бесстрастно и бесстрашно и что-то держал в руках... <...>

Я стоял как очарованный взглядом чудовища. Передо мною разверзлись ужасающие таинства природы. Я подглядел то, что смертному нельзя было видеть. Колеса Иезекииля? Огненные вихри Анаксимандра? Вечное вращение, ноуменальный огонь... Я остоленел и пораженный ужасом, и захваченный дерзновенным любопытством, зная, что не должно мне видеть и слышать видимого и слышимого. <...> И только прошел упоительный и страшный миг слияния с этим огненным первоявлением природы, только явилось сознание себя, как панический ужас охватил меня» (Флоренский Павел, священник. Детям моим. Воспоминания прошлых дней. Из Соловецких писем. Забвение. М. : Московский рабочий, 1992. С. 32).

Обычно вещи первых воспоминаний не только вполне обыкновенны с точки зрения вспоминающего о них взрослому, но в них нет свидетельств того, что они произвели особенное впечатление на воспринявшего их ребенка. Исследователю, озабоченному поиском ответа на вопрос, почему, собственно, мы до сих пор помним все эти ординарные предметы (мячики, лесенки, лопаточки...), остается лишь недоуменно разводиться руками.

Ведь что вспоминается людям как первое в их жизни? Что-то очень простое: свет, падающий из окна, игрушка, кровать, трава, стрекоза, пуговица, собака, яблоко¹⁷... Все это — обычные предметы, окружающие малыша в детской, на прогулке, на даче; их образ редко сопровождается воспоминанием о том, что они произвели на него сильное впечатление. Но тогда почему мы их помним?

Пожалуй, если бы первым воспоминанием был образ матери (или бабушки, няни, отца), то это было бы понятно, это можно было бы объяснить, но автобиографические свидетельства говорят о другом: образы близких людей встречаются в первых воспоминаниях не чаще, чем предметы обихода, игрушки или явления природы¹⁸. Если учесть, что почти

¹⁷ Множество разнообразных воспоминаний о «самом первом» собрано Львом Матюшкиным (*Матюшкин Л.* Первые воспоминания людей URL: <http://indiepie.livejournal.com/274501.html> (дата обращения: 23.12.2012)). Матюшкин провел первичный эмпирический анализ этих воспоминаний, выделив и сгруппировав по категориям все, что встречается в первых воспоминаниях (вещи, люди, места, запахи, цвета, звуки, действия, эмоции и т. д.).

¹⁸ В этом отношении большой интерес представляет то описание первых воспоминаний, которые оставил нам в «Жизни Арсеньева» Иван Бунин. В эпиграфе к этому разделу я цитировал первые строки романа, где повествователь указывает на скупость и простоту первого воспоминания («Я помню большую, освещенную предосенним солнцем комнату, его сухой блеск над косогором, видным в окно, на юг...»). Обращает на себя внимание также «пустыньность» этого воспоминания, его — при всей конкретности образа — отвлеченность. К странной безлюдности первых воспоминаний Бунин-Арсеньев возвращается по ходу повествования снова и снова, сознательно акцентирует на ней внимание: «Где были люди в это время? Поместье наше называлось хутором, — хутор Каменка, — глав-

в половине тех описаний, с которыми мне удалось познакомиться, о вещах говорится solo (без упоминания о людях), то становится понятно, что объяснить состав и содержание первых воспоминаний только (или преимущественно) с прагматической точки зрения едва ли возможно.

В поисках ответа на вопрос о причине запоминания ребенком того или иного предмета приходится вернуться к тому, с чего я начинал свои размышления: в нашей памяти задерживается то, что в том или ином отношении задевает нас за живое (задевает онтически или онтологически). Нам

ным именем нашим считалось задонское, куда отец уезжал часто и надолго, а на хуторе хозяйство было небольшое, дворня малочисленная. Но всё же люди были, какая-то жизнь всё же шла. Были собаки, лошади, овцы, коровы, работники, были кучер, староста, стряпухи, скотницы, няньки, мать и отец, гимназисты-братья, сестра Оля, ещё качавшаяся в люльке... Почему же остались в моей памяти только минуты полного одиночества? Вот вечерет летний день. Солнце уже за домом, за садом, пустой, широкий двор в тени, а я (совсем, совсем один в мире) лежу на его зелёной холодеющей траве, глядя в бездонное синее небо, как в чьи-то дивные и родные глаза, в отчее лоно своё. Плывет и, круглясь, медленно меняет очертания, тает в этой вогнутой синей бездне высокое, высокое белое облако... Ах, какая томящая красота! Сесть бы на это облако и плыть, плыть на нем в этой жуткой высоте, в поднебесном просторе, в близости с Богом и белокрылыми ангелами, обитающими где-то там, в этом горнем мире! Вот я за усадьбой, в поле. Вечер как будто всё тот же — только тут ещё блещет низкое солнце, — и все так же одинок я в мире. Вокруг меня, куда ни кинь взгляд, колосистые ржи, овсы, а в них, в густой чаще склоненных стеблей, — затаённая жизнь перепелов. Сейчас они ещё молчат, да и всё молчит, только порой загудит, угрюмо зажужжит запутавшийся в колосьях хлебный рыжий жучок» (*Бунин И. А.* Повести. Рассказы. Воспоминания. М.: Московский рабочий, 1961. С. 205—206).

Даже в тех случаях когда в первом воспоминании присутствуют люди, это совсем не обязательно мать или близкие родственники. Так, в первом воспоминании С. В. Ковалевской «первым, что помнится», оказывается сцена после церковной службы с участием няни и дьячка, няниного знакомого. Причем «гвоздем воспоминания», тем, благодаря чему оно помнится, оказываются слова дьячка, с которым судьба девочки потом никак не пересекалась (см.: *Ковалевская С. В.* Указ. соч. С. 4—5).

запоминается или важное для жизни (онтически важное)¹⁹, или что-то особенное, то, в чем обнаруживает себя Другое. Если говорить о восприятии маленького ребенка, самосознание которого находится в фазе становления, то логично было бы предположить, что запоминается им то, что поражает воображение (вызывает страх, одаривает радостью, очаровывает). Именно такое истолкование тайны первой вещи содержится в гипотезе, связывающей открытие детской памяти с захватывающими дух встречами с вещами-первосветами.

Если от предположения о первой вещи как об особенной в детском восприятии уйти не удастся, то следует обдумать препятствующее его принятию отсутствие во многих автонарративах свидетельств о ярком эмоциональном фоне, который — по идее — должен был бы сопровождать память о вещах, открывающих персональную историю. Тот факт, что во многих из первых воспоминаний не удерживается память о вещи как об особенной, необыкновенной, можно, как я полагаю, объяснить их *отдаленностью во времени*. Скорее всего, именно временная дистанция является причиной выветривания чувства, сопровождавшего когда-то встречу с запомнившимся предметом и свидетельствовавшего о «свечении» вещи.

Можно предположить, что вещь, удержанная памятью до старости, была в такой мере особенной, что энергии ее другости оказалось достаточно для создания эмоциональной волны такой высоты и силы, которая способна была внести ее на своем гребне в сокровищницу памяти. Потом эта волна отхлынула от вещи, а ее образ сохранился. Сильное чувство, сросшееся с обликом вещи, можно рассматривать как средство доставки образа в отдаленное будущее. Его энергия, переместившая образ на орбиту долговременной памяти (на самую высокую ее орбиту), не беспредельна, со временем она рассеивается, иссыкает, но удержанный ей образ сохраняется в сознании до конца нашего земного пути.

¹⁹ Речь идет о вещах, с которыми мы так долго взаимодействовали, что они «проросли» в нас, пустили глубокие корни в нашем сознании, и о вещах, которые мы воспринимаем как жизненно важные для нашего существования.

Итак, первое воспоминание связано не только с *пробуждением «я»*, но еще и с *особенным чувством и чувством особенного, сопровождавшими восприятие того, что стало первым*.

Слишком просто, чтобы было так просто. Что скрывается за первым воспоминанием? Случайность? Судьба? Провидение? Нас не может не озадачивать малозначительность (с позиций обыденного сознания) и разнородность предметов, освещающих присутствие у его истоков. Их перечисление напоминает классификацию животных из знаменитой «китайской энциклопедии» Борхеса²⁰. Что мы помним? Блестящий металлический шарик... Никелированная спинка кровати... Бабушкин сундук... Темно-зеленый осколок бутылки... Красная пуговица... Что значит для понимания истории жизни тот факт, что один человек ведет свое летоисчисление от стеклянного шарика, другой — от красной пуговицы, а третий — от горького запаха полыни? Способно ли то, что запомнилось первым, что-то прояснить в «истории моей жизни»? Способно ли оно оказать какое-то воздействие на меня, на мои цели и интересы, на мое самосознание? Если судить по незамысловатости, прозаичности вещей, подводимых под рубрику «первые воспоминания», напрашивается столь же незамысловатое заключение: никакого значения для дальнейшей жизни они не имеют и иметь не могут. Но если задержаться над этим феноменом чуть дольше, то признать за ним значение все же придется. О том, что первые воспоминания важны для нас и что-то в нашей жизни определяют, заставляет думать сам факт их сохранности. Все несущественное человек забывает, все травматичное — вытесняет. И если

²⁰ Борхес приводит классификацию животных из китайской энциклопедии в рассказе «Аналитический язык Джона Уилкинса». В энциклопедии говорится о том, что «животные подразделяются на: а) принадлежащих Императору, б) набальзамированных, в) прирученных, г) сосунков, д) сирен, е) сказочных, ж) бродячих собак, з) включенных в эту классификацию, и) бегающих как сумасшедшие, к) неисчислимых, л) нарисованных тонкой кистью из верблюжьей шерсти, м) прочих, н) разбивших цветочную вазу, о) издали кажащихся мухами» (Борхес Х. Л. Проза разных лет : сб. М. : Радуга, 1989. С. 218).

какие-то вещи не были забыты/вытеснены, следовательно, они не являются травматичными и имеют для того, кто их сохраняет, существенное значение, напоминают ему о чем-то важном, значительном. Можно думать, что оставшийся в памяти след детского опыта заставляет задуматься о встрече с перво-вещью как о том, что, с одной стороны, оказало воздействие на развитие ребенка, *повлияло на формирование* его индивидуальности, а с другой стороны — было первым эпизодом в *выявлении его внутренней формы*.

Двойственность первых воспоминаний (их незначительность по предметному содержанию и значительность в качестве содержательного начала самосознания) озадачивает нас и создает необходимое для мысли напряжение. Соединение в первом образе обыкновенности, случайности и особой ценности для персонального сознания приковывает к себе наше внимание и стимулирует мышление²¹. Первым могло быть и «это», и «это», и «это», но оказалось — *почему-то* — «вон то, круглое, в полосочку!» Почему? Логично предположить, что в каком-то отношении оно было особенным для меня и «запало в душу». Нечто легло в основание памяти, и это меня определило, что-то во мне открыло, обнаружило²².

²¹ Про воспоминания, в которых имеются эмоционально нагруженные вещи, и говорить не приходится. Такие вещи притягивают наше внимание по вполне понятным причинам. Но они — исключение в кругу первовещей памяти, а человеку интересны первые вещи в любой форме их данности, интересны самой своей изначальностью.

²² Ситуация тут примерно та же, что и с влюбленностью. Основания выбора остаются неясными, и, тем не менее, то, каким именно оказался «предмет любви», имеет свои последствия для дальнейшей жизни, хотя не всегда эти последствия легко проследить и артикулировать. Предметом первой любви могла стать любая девушка, но стала именно эта. А эта — оказалась такой-то и такой-то. И, в общем-то, совершенно не понятно, почему первой оказалась именно она? Если любовь была сильной, то воспоминание о ней не может не оказывать влияния на последующую жизнь мужчины, на его отношение к женщинам. Отсюда стремление людей осмыслить первую любовь в напряжении между ее внутренней необходимостью и внешней случайностью. Конечно, влюбленность имеет мощное пси-

От простого к сложному и обратно. Обычно мы видим вещи через цветные стекла ранее приобретенного опыта и знаний. Но не всегда этот опыт и знания были достаточно плотными для того, чтобы оказывать существенное воздействие на восприятие. В первые годы жизни багаж опыта и знаний совсем невелик, и воспринимающее «я» почти прозрачно для того, что в него входит; вещи в этот период открывают нам себя в своей первобытности, в своей *смысловой необработанности*. Доверительное, простое отношение к вещам — характерная особенность именно первых годов жизни.

хофизиологическое подкрепление, но все дело в том, что ее столь многое определяющая конкретизация — непредсказуема. При этом, если любовь случилась, то любимая воспринимается мной как изначально для меня предназначенная. Каким же образом получилось, что то, что переживается как необходимое, несомненное, обязывающее, в рациональном плане предстает как случайность? (Я мог выйти из дома на 5 минут раньше и не встретить ее, я мог пойти по другой улице и — пройти мимо нее, и тогда... и т. д.) Малозначительные события и обстоятельства, которые привели к встрече, приобретают для нас телеологический смысл: да, это должно было произойти, все к этому вело! То, что со стороны внешнего наблюдателя (и меня самого, поскольку я встаю на эту внешнюю позицию) представляется чистой случайностью, для вовлеченного в событие субъекта представляется конечной целью множества малозначительных в своей обособленности действий. Для внешнего наблюдателя не происходит ничего особенного: мужчину влечет к женщине, а прочее (кто она?) — дело случая и сцепления обстоятельств. Но для переживающего встречу все складывается в иную картину: апостериори, после того, как «любовь случилась», ничего не значащие случайности, которые способствовали встрече, начинают восприниматься как знаки Судьбы. Маленькие случайности обретают смысл через отношение к событию встречи с любимой. Они были «нужны» для того, чтобы мы встретились. Человек начинает мыслить как провиденциалист (даже если он не верующий) и гегельянец (даже если он ничего не слышал о Гегеле и телеологии), когда он осмысливает уже свершившееся и притом важное для него событие. Тут выстраивается такая примерно логика: это случилось, потому что (следовательно?) не могло не случиться. В случае с вещью осмысление ситуации осложняется тем, что здесь мы имеем дело с далеким воспоминанием и не знаем, что предшествовало встрече с вещью-первосветом, хотя и знаем кое-что о своей дальнейшей жизни.

Если исходить из простоты и прямоты (наивности) детского взгляда, то не стоит ли тогда философу, тематизировавшему простую вещь, обратиться к первым воспоминаниям и внимательно взглядеться в незамутненные образы детского восприятия? Возможно, так и следует поступить, но для начала есть смысл ответить на простой вопрос: а насколько просты вещи первых воспоминаний? Допустим, ребенок воспринимает вещь просто, наивно, «первым взглядом», но разве с детскими воспоминаниями имеет дело ребенок? Нет. А уж взгляд взрослого от простоты точно далек! Даже если допустить, что память сохранила образ первой вещи в его младенческой простоте (что тоже сомнительно, поскольку первое воспоминание многократно актуализировалось в разные годы и не могло не измениться под воздействием опытного и знающего внутреннего ока), то сможет ли ее удерживать взрослый человек?²³ Не уничтожит ли простоту перво-вещи сам факт ее извлечения на свет из глубин памяти?

Парадокс первых вещей индивидуального сознания в том и состоит, что влекут они нас своей простотой (своей почти ничем-неопосредованностью), а их актуализация в сознании, тем более — аналитическая работа с ними, усложняет вещи, наделяет их таким содержанием, которое в момент восприятия отсутствовало (ребенок видел вещи иначе). Таким образом, взгляды в простые вещи раннего детства, мы разрушаем их простоту.

²³ Сомнение в аутентичности первых воспоминаний высказывают многие мемуаристы. Так, например, Софья Ковалевская, сетуя на сложность с определением последовательности первых образов памяти и отделения того, что помнит она сама, от того, что помнится ей по рассказам близких, акцентирует внимание на проблематичности достижения чистоты в воссоздании первичных образов памяти: «Что еще хуже — мне никогда не удается вызвать ни одно из этих первоначальных воспоминаний во всей его чистоте, не прибавив к нему невольно чего-либо постороннего во время самого процесса воспоминания» (*Ковалевская С. В.* Указ. соч. С. 4). Этот момент осознается и современными исследователями детства. На него, в частности, указывает в исследовании опыта детства по автобиографическим нарративах одесский философ Инна Голубович (см.: *Голубович И.* Указ. соч. С. 319, 359—364).

Однако простота первых вещей, попавших в поле зрения испытующего взгляда взрослого, в одно и то же время (но в разных отношениях) и исчезает, и сохраняется, остается неуязвимой. Что я имею в виду? Место простоты (цельности, нерасчлененности) вещи первого воспоминания занимает простота как смысловой фундамент автобиографической конструкции. По мере углубления в первое воспоминание вещи-первосветы утрачивают простоту, но зато идея их простоты (ведь первое — по определению просто) сохраняется. Для анализа и осмысления собственной жизни лучше всего подходит именно простое, наивное, *то, что не создано рефлексующим субъектом*. Именно такого рода вещи могут быть (и являются) привилегированными объектами для анализа и истолкования.

Рефлексивная работа с простыми вещами раннего детства расщепляет их цельность и простоту и высвобождает за счет этого таящуюся в ней энергию новых автобиографических смыслов. Рефлексивная «продвинутость» взрослого позволяет ему связывать то, что «завязалось» в событии, удержанном первым воспоминанием, с тем, что созрело (произошло) значительно позже.

Раскалывающая простоту перво-вещи ее помещением в автобиографическую и культурно-семантическую перспективы, мы извлекаем из нее новые смыслы (и/или наделяем ее ими)! *Простота вещей-первосветов сохраняется как имплицитная основа сложной конструкции жизни как текста, который может и должен быть прочитан и осмыслен.*

Работа с памятью. Понять первое через последующее и последующее — через первое (практический поворот)

...Так как первые жизненные впечатления определяют дальнейшую внутреннюю жизнь, то я попытаюсь записать возможно точнее все, что я могу припомнить из впечатлений того времени.

*Павел Флоренский. Детям моим*²⁴

Питается пальбой и пылью
Окуклившийся ураган.

Борис Пастернак. Бабочка-бура. 1923

²⁴ *Флоренский Павел, священник.* Указ соч. С. 31.

Интерес широкой публики (а не только людей искусства, мыслителей и ученых) к первым воспоминаниям понятен. Это самое раннее из свидетельств о содержании нашего «я». То, что мы в себе держим, в то же самое время держит и нас самих. Первое воспоминание — это дверь, через которую мы вышли в мир и — одновременно — вошли (пришли) в себя. В каком именно месте мы оказались? «Куда», собственно, мы вошли-вышли? «Куда» нас ввели-вывели? Какое значение этот вход-выход имел для дальнейшей жизни? По первой вещи памяти можно попытаться прочесть будущее запомнившего ее человека. Вглядываясь в нее, можно попробовать разглядеть в ее свойствах и символическом содержании признаки тех склонностей и задатков, которые заявят о себе значительно позднее. С первым-из-удержанного памятью можно работать, как с первым определением нашего «я». И пусть воздействие на душу вещей первого воспоминания — по сравнению с воздействием на жизнь и личность общего запаса воспоминаний — не велико, но их символический вес значителен. Ведь эти вещи вошли в наше сознание первыми, на заре нашей жизни²⁵, и не были забыты. Проследить гипотетическое воздействие на жизнь вещей-первосветов можно, но подтвердить объективность полученного результата — никому не под силу. Такое знание всегда будет знанием понимающим и истолковывающим, знанием, углубляющим наше самосознание и в то же время изменяющим и понимаемое, и понимающего.

Из сказанного понятно, что у работы с первыми воспоминаниями (особенно — с собственными воспоминаниями)

²⁵ Здесь уместно будет вспомнить рассказ Брэдбери «И грянул гром», в котором писатель размышляет о том, к каким последствиям может привести маленькая перемена «в составе бытия», если она происходит в отдаленном прошлом. Напомним, что герой рассказа с помощью машины времени отправляется в прошлое. Там он случайно сходит с тропы, наступает на бабочку и... изменяет будущее, движение которого отклоняется от той траектории, которая была знакома герою до его путешествия в прошлое. По возвращении он обнаруживает, что мир стал иным, что все то же и не то: в воздухе что-то неуловимо изменилось. Этих небольших перемен оказалось достаточно для того, чтобы в результате выборов к власти пришла «партия зла» (а не «партия добра», как это было до начала путешествия).

есть два аспекта: познавательный и практический. Если в объективности полученных через работу понимания знаний удостовериться сложно, то в ее практической действительности сомневаться невозможно. Осмысление жизни — это один из многих (и не последний по значению) способов саморазвития, того, что Ольга Балла именует «антропопластикой»²⁶. Установление связи между смыслами, «заложеными» в вещах-первосветах, и событиями дальнейшей жизни само по себе является заметным (и действенным, меняющим самосознание) событием. *Размышления над первообразами памяти вносят в представление о себе самом нечто новое, а стало быть, воздействуют на самосознание. Они или укрепляют сложившееся представление о себе, или его трансформируют.*

С особым интересом люди обращаются к первым воспоминаниям в свои зрелые годы, а предметом вдумчивого осмысления в автобиографическом ключе их образы становятся уже в старости. Тот, чья жизнь близится к закату, стремится связать концы и начала. Обращение к началу, связывание первого, того, что за ним следует, и последнего становится чем-то насущным и неотложным, когда «дело сделано» и на повестке дня стоят не новые проекты, а извлечение из совокупности прожитого предположительно имеющегося в нем смысла. Смысл первых строчек повествования (как учит нас герменевтика) становится иным, когда книга прочитана до конца...

И хотя человеку, углубившемуся в воспоминания и связывающему то, что казалось несвязанным, кажется, что он познает-выявляет истинную форму собственной жизни, он в действительности занимается антропопластикой. Дело в том, что отделить *усмотрение* смысла в сложном переплетении жизненных нитей от *придания* прошедшему формы и направления не представляется возможным. *Связи и смыслы не про-*

²⁶ Этот неологизм ввела в отечественное интеллектуальное пространство Ольга Балла. URL: <http://yettergart.livejournal.com/tag/> (дата обращения: 06.01.2013). Термин кажется мне подходящим для указания на практики, изменяющие (и в то же время — выявляющие) внутреннюю форму человека.

сто «открываются» мемуаристом, но им самим и устанавливаются, творятся²⁷.

Жизнь может быть осмыслена (как целое, как форма) через поиск и усмотрение в ней того, с чем человек связал свое имя. Извлечение смысла зависит от ценностей, посредством которых он отделяет существенное в своей жизни от несущественного, а также от того, что он готов признать ее целевой причиной (призванием). Факты биографии он привязывает к целевой причине, представление о которой, с одной стороны, *предшествоует* работе с автобиографическим материалом (представление о собственном призвании-предназначении — та смыслопорождающая оптика, которая позволяет осмыслить персональную историю), а с другой — *выявляется/лежится* (и уточняется, пересматривается) в ходе размышления над хаотичным нагромождением из встреч и расставаний, из успехов и падений, etc.²⁸.

В юности мы авансируем смысл в жизнь «здесь и теперь», но это — ее предполагаемый смысл. Мы вкладываем смысл в будущее и при его посредстве придаем форму настоящему. На какое-то время цель, представление о желанном будущем, о том, кем хотелось бы стать, на кого походить, какие ценности воплотить, придает нашей жизни смысл, форму и направление²⁹. В сущности, тот, кто молод, живет на

²⁷ В современных исследованиях воспоминаний детства этот динамический, пластический момент в работе автобиографической памяти осознается и учитывается: «Взрослый автор в своих автобиографических актах сам находится в динамике, он не только устремляет свое “интерпретирующее воображение” на переживания детства. Одновременно, обращаясь к детскому опыту, он во многом преобразует себя, заново переосмысливает свою жизнь-биографию, по-новому расставляет ударения на ускользающих в глубину памяти “началах” и уходящих в неведомое будущее “концах”» (Голубович И. Детство в христианской традиции и современной культуре. Киев : ДУХ І ЛІТЕРА, 2012. С. 364).

²⁸ Цель, целое, не стоит понимать узко. Полнота присутствия, поглощенность настоящим тоже могут быть нашим призванием.

²⁹ При этом очевидно, что придание формы настоящему через цель (цели) в каждом конкретном случае реализуется с разной степенью отчетливости и генерализации. Цели могут быть туманными и множественными, а могут быть генерализованными и иерархизированными.

проценты со смысла, вложенного в будущее. Причем дивиденды, получаемые с авансированного в будущее смысла, тем выше, чем больше срок до его предполагаемого исполнения. Жизнь получает смысл через воображаемый образ себя-в-будущем, созданный в соответствии с тем, что представляется не только желанным, но и возможным, соответствующим индивидуальным способностям, силам и т. д. Смысл вкладывается в настоящее оформляющей силой желанной цели³⁰.

Ближе к старости работа осмысления строится в направлении прямо противоположном тому, в котором она велась в юности. Усмотрение в жизни смысла (придание ей смысла) осуществляется не по логике проекта, а по логике его *извлечения из того, что свершилось*³¹. Когда ты чувствуешь себя сто-

³⁰ О том, как человек строит себя через мечту, через будущее и какие на этом пути подстерегают его испытания и разочарования, очень любил размышлять Антон Павлович Чехов. Одна из внутренних пружин его прозы и драматургии — это переход от надежд и упований молодости к разочарованности зрелого или пожилого человека в том, что когда-то было его желанной целью, придавало жизни смысл, давало ей направление. Иногда Чехов показывает, как за разочарованием следует новое упование, новая цель, которая влечет, манит за собой (Лихарев в рассказе «На пути», Надя Шумилина в «Невесте»), но чаще в центре внимания оказывается крушение той цели-ценности, которая когда-то поддерживала человека, но обнаружила свою внутреннюю слабость, несостоятельность (оказалась или несовместимой с суровой действительностью, или была осознана как форма самообмана, или же герой понял, что для ее достижения у него не хватает сил, характера, воли). Вот некоторые из чеховских мучеников неоправдавшихся надежд: Нина Заречная, Треплев («Чайка»), Войничский («Дядя Ваня»), Ирина, Ольга, Маша, Андрей («Три сестры»), Катя («Скучная история»), Алёхин («О любви»), Лаевский («Дуэль»), герой и героиня «Рассказа неизвестного человека»... Перечислять можно было бы долго.

³¹ Нельзя не признать принципиального отличия взгляда на жизнь «изнутри» (автобиографическое сознание) от взгляда на нее со стороны (романное восприятие с позиции венаходимости), о чем писал в свое время М. М. Бахтин («Автор и герой в эстетической деятельности»). Сам себя я никогда не увижу таким, каким меня увидит другой, тот, кто занимает позицию венаходимости. Однако внутренний завершающий взгляд, хотя и иначе окрашенный, и не достигающий той чистоты и завершающей силы, которая имеется в

ящим перед бездной, смысл прошедшего начинает проясняться именно потому, что приобретает завершенность. Жизнь в ее смысловой определенности открывается через соотнесение-связывание *того, что было, с тем, что есть*, поскольку времени для проектов больше нет, есть только маленькое будущее завершения сделанного. *Смысл вкладывается в прошлое* исходя из того, что получилось к настоящему моменту (как если бы этот момент был последним). Производя/извлекая смысл, мы связываем то, что есть «на данный момент» (как если бы это был «конец пути»), с тем, что было в самом начале³².

созерцании извне, с позиции другого, все же возможен. Это взгляд на собственную жизнь не как на возможность иного, а как на уже свершившуюся историю, как на написанную повесть. Понятно, что чтение текста жизни никогда не достигнет той меры объективности и свободы в отношении к герою повествования (и той благожелательности к нему), которая достижима с позиции другого именно потому, что при интроспективном завершении невозможно устранить знание о том, что жизнь, которую я пытаюсь увидеть в ее целом, — это моя жизнь. На данный момент указывал и Бахтин, отмечая невозможность эстетической завершенности произведения в таком, например, жанре, как исповедь. Акт описания/чтения собственной жизни — часть этой жизни, он входит в ее состав и меняет ее самым фактом прочтения судьбы как текста, следовательно, не позволяет иметь дело с вполне завершенной жизнью. И, тем не менее, когда жизнь прожита и ее текст в общем и целом написан, человек читает его иначе, чем тогда, когда текст находится «в работе», то есть когда составлялся план, писалась первая и вторая главы, когда в написанное вносились поправки и т. д. Если человек читает жизнь с позиции приговоренного к смертной казни, он способен увидеть свою жизнь как завершенное целое и предпринять попытку нащупать ее внутреннюю, смысловую форму. И хотя при таком всматривании в жизнь его субъект остается в той или иной мере заинтересованным, пристрастным, но сама попытка увидеть свою жизнь в цельности представляется и необходимой, и продуктивной. Как в молодости продуктивным представляется забегание в будущее, набрасывание жизненного плана, его корректировка, так в пожилые годы необходимыми и продуктивными оказываются практики завершения.

³² Для осмысления жизни как целого важно знать не только то, что со мной было, но также и то, чего со мной не было, потому что я не хотел, чтобы оно было, а также то, чего в ней не было, хотя

Человек, подводящий итоги своей жизни, не может не искать связи между ее первым и последним словом. Без соединения первого и последнего понять логику (логос, форму) прошедшей жизни едва ли возможно.

Если же связь между началом и концом установлена, значит жизнь обрела форму. Обычно ее логос укладывается в устойчивые образы жизненного пути: «трудный путь к Богу», «семейное счастье», «несчастливая доля», «служение искусству», «борьба за правду», «жизнь-путешествие», «история большой любви», «приключения Дон-Жуана» и т. д. В любом случае человек, которому удалось обнаружить в своей жизни порядок (или придать ей его), испытывает удовлетворение и получает то, что я бы назвал *утешением осмысленностью*. Важно не только (и не столько) то, через какую именно форму-формулу жизнь обрела свой логос, сколько сам акт усмотрения/придания смысла. Жизнь животной не выходит за пределы заданной природой, она нацелена на собственное (причем не индивидуальное, а родовое) воспроизводство. Человек же — это в себе и для себя сущее. Как сущее в отношении-к-Другому он обречен на поиски смысла. Ведь его жизнь как бытие-в-заключает в себе презумпцию осмысленности, так что отказаться от попыток осмысления собственной жизни он и не может, и не должен³³.

Если в первых событиях детства (в событиях по воспоминаниям) пожилому человеку удалось увидеть зерно своего будущего (которое к этому моменту уже стало прошлым), то у него появляется возможность отделить «несбывшееся», «неудавшееся» от «сбывшегося» и принять последнее как судьбу, знаки которой ему удалось открыть уже в первых впечат-

я и хотел бы это пережить (желанное, но не сбывшееся, невоплощенное или недоовплощенное). Для усмотрения/установления формы жизни, ее смысла в равной мере существенно и случившееся в ней, и не случившееся. В молодости мы владеем тем, что еще не случилось, как орудием самоформирования. В это время оно составляет самую драгоценную часть того, что есть. Но располагаем мы им иначе, чем в пожилые годы. Это — «пока еще не случившееся». Старый же человек располагает почти всей совокупностью того, что с ним случилось и не случилось.

³³ То есть отдельный человек, конечно, может, а вот человек как таковой, «совокупный человек» — нет.

лениях, в исходных предметах интереса, внимания, беспокойства и т. п.

Рост и ветвление смыслов, извлекаемых из образа вещи-первосвета, продолжается и после того, как она впервые стала предметом автобиографической рефлексии. Если в жизни рефлексирующего над первым и последним человека происходит поворот, то меняется и истолкование первоветви памяти: в них открываются новые смысловые горизонты. Многократное возвращение к первоветви, ее переинтерпретация, извлечение новых смыслов показывает, что вещь-первосвет переживается нами как хранилище неисчерпаемой тайны простого.

Поэтика потерь: к антропологии вещи

Большая вещь — сама себе приют.
О. С.

У вещей есть два модуса существования — присутствие и отсутствие, причём последнее не менее, а иногда и более сильно, чем первое. Иные предметы голосят, вопиют своим отсутствием, его незаменимостью-ничем-другим. Иным — вообще надо исчезнуть, утратиться, чтобы стать по-настоящему, в полной мере самими собой. Их присутствие — только подготовка к будущему отсутствию, его вызревание, накопление. Утрата — задание и человеку, и предмету.

Белые и чёрные клавиши бытия — присутствие и отсутствие.

Расхожее и защитное представление о том, что-де «ни о чём» — а уж тем более об утраченных вещах — «не надо» жалеть, — не только неправда, но и как-то нечестно по отношению к вещам, верным терпеливым спутникам. В них скапливается жизнь. В любых, в мелких тоже, и по количеству её там ничуть не меньше, чем в крупных: жизни нет дела до размера вместилища, она везде умещается. Её-то и жаль.

Всякая вещь ведь о чём-то, поверх своего утилитарного назначения. Так один кувшин для холодной кипячёной воды, долго-долго живший в доме и погибший под сдуру ливанутым туда крутым кипятком, всем своим округлым простодушием был — о молодом сентябре как состоянии мира, о моих ранних 80-х, о прохладном восходе жизни — и тем самым, уже одним этим, ощутило эту жизнь выпрямлял. Его давно уже нет, а место, где он стоял, всё ещё тихо-тихо, едва слышно, но неустранимо звучит на той же ноте, которую он создавал своим присутствием.

Ведь не только каждый человек другому — урок (это-то давно известно), но и вещи приходят, чтобы нас чему-то научить. Даже если это что-то — «всего лишь» солнечность существования.

Потери остро затачивают нас, как карандаши (чтобы тонкую линию, значит, проводили по лицу мироздания, а не